

О семье, ленфильмовской библиотеке и Ольге Гильдебрандт-Арбениной

<http://oralhistory.ru/talks/orh-1622>

16 июля 2013

Собеседник

Зелинская Вера Евгеньевна

Ведущий

Озерова Екатерина Густавовна

Дата записи

Беседа записана 16 июля 2013 и опубликована 13 февраля 2019.

Введение

Во второй беседе художник кино Вера Зелинская продолжает рассказ об истории своей семьи. Ее родители, приехав из Бухареста в Кишинев навестить умирающего дедушку, оказались в Советском Союзе, поскольку в это время Бессарабия была присоединена к СССР. Вера Евгеньевна вспоминает детство в Новосибирске, долгие скитания по разным родственникам, арест матери и учебу в деревенской школе на Украине. Вторая часть беседы — о художнице Ольге Гильдебрандт-Арбениной, которая в молодости была музой поэтов Серебряного века, а в старости работала в библиотеке киностудии «Ленфильм».

Екатерина Густавовна Озерова: Вера Евгеньевна, я счастлива встретиться с вами.

Вера Евгеньевна Зелинская: Взаимно.

Е. О.: Хотелось бы поговорить о вашей семье. В прошлый раз вы рассказывали о своем творческом пути, как вы пришли на студию. А сейчас хотелось бы узнать о ваших истоках, о ранних воспоминаниях, о родителях, о том, что интересным кажется вам в вашей семье, в вашей родословной.

В. З.: Попытаюсь, хотя я все время вас уведила от этой темы, и в личном разговоре, и в разговоре при камере. Дело в том, что я принадлежу к тому поколению советских людей, будем говорить откровенно, которые очень мало про себя знали. Такая была жизнь. Во всяком случае, я отношусь к тем людям, от которых в младенческом, молодом возрасте очень многие вещи скрывались для сохранения моей собственной жизни. Из опасения, что я могу что-то ляпнуть не то.

Е. О.: То есть оберегали?

В. З.: Оберегали, конечно. И поэтому то, что я сейчас буду говорить, я буду стараться... Во-первых, память человека преклонного возраста — это память выборочная, и всплывает непонятно что и непонятно откуда, это первое. С логикой совершенно не связано ничто. А второе — просто опять же я помню и знаю какие-то крупички, не потому что я что-то потеряла в течение времени в памяти, а просто потому, что я и не знала чего-то. Поэтому я попытаюсь коротко рассказать свою историю, историю своих родных. Не знаю, как это у меня получится. Поэтому я всегда избегаю подробной беседы, а обычно так же, как рассказывают анекдоты: когда вдруг к слову пришлось, тогда рассказываешь анекдот. Не просто рассказываешь анекдоты все, которые помнишь. И всплывают они только тогда, когда к слову. Только люди со специфической памятью могут помнить все анекдоты. Так же и в данном случае, потому что жизнь каждого советского человека — это анекдот своего рода (*усмехается*).

История семьи

Дело в том, что у меня мама была бессарабской румынкой. Ее отец, мой дедушка, имел имение в Бессарабии, в Бендерах, имел дом в Кишиневе и был, как ни странно, придворным румынского короля. Последний был Михай, а до этого был другой, я не помню, потому что эта история ко мне пришла уже гораздо позже, уже после смерти матери и отца, при приезде моего двоюродного брата из Румынии. Он мне какие-то вещи рассказывал. Дедушка был, говорят, гигантского роста, очень высокий, большой человек, и придворный. Пока он не влюбился в цыганскую девочку и выкрал ее из табора. Девочке было четырнадцать лет, а ему двадцать семь или сколько-то. То есть он делал карьеру придворную, какое-то образование у него было. Где он учился, в каких лицеях? Я думаю, что во Франции или где-то. Этого я не знаю, но знаю, что он был достаточно образованным человеком. После этого по законам жанра его удаляют из придворных и со всех привилегированных служб. Он уезжает с этой девочкой из Бухареста в Бессарабию и живет там. Через какое-то время, опять же не знаю, по какой причине, он становится священником в Кишиневе. Церковь эта, в которой он служил, был рукоположен, находилась рядом с домом в Кишиневе.

Когда я ездила, по рассказам моего двоюродного брата я нашла этот дом, нашла эту церковь, меня нашли люди, соседи, которые жили напротив. Все то, о чем я сейчас говорю, относится к довоенному периоду, до 39-го года. Это не так давно, это все-таки не 17-й год, не доисторическая эпоха. Я все ходила, смотрела на дом, видела флигель, не видела дома, изумлялась, там что-то ходила. И вдруг человек выходит из противоположного маленького домишки и говорит: «Вы что, кого ищете?» Я говорю: «Ну вот...» — «А-а-а, — говорит, — Ионеску, я знал двух его девочек». У него были две дочери. Была конюшня, и дочери очень любили ездить верхом. И вот как они проезжали, хорошенькие две девочки, и он служил здесь же, и вот он умер. И дальше для меня провал, что произошло, и когда умерла моя бабушка, та самая цыганка.

Е. О.: А девочки две — это ваша мама...

В. З.: А девочки — это мама и моя тетя. И для меня провал, что произошло дальше с моей бабушкой. Петя, мой двоюродный брат румынский, ее помнил, он был маленьким совсем, говорил, что очень славная женщина. Как я понимаю, она умерла раньше, чем дедушка.

” Потому что грянул 39-й год, как у них было принято говорить, пришли советские солдаты и лишили всего, что у них было и чего у них не было, освободили от всего.

И вот когда «освободители» пришли, в это время у моего дедушки случилась саркома, не знаю чего, и он умер. Уже будучи при смерти он пожелал увидеть своих детей. Дети приехали, то есть приехала мама с маленьким моим братом, который умер во время войны, мой папа и моя тетя. А дядюшка, муж тети, не мог приехать по какой-то причине важной. И это, собственно, ее спасло от окончательного пребывания в Советском Союзе. Потому что ее потом (как соединение семьи, это было возможно) дядюшка забрал, через Одессу, через Констанцу привез в Бухарест. А мои родители были все вместе, семья была целиком здесь, и уже уехать обратно не удалось.

” Во мне текут бурные реки непонятно какой крови: там и румынская, и цыганская по маминной линии, и с папиной стороны польская и армянская. То есть такая смесь.

Я даже раньше думала, что это очень редкая смесь — поляки вместе с армянами. Это так редко бывает, думала я, и что я такой уникальный человек. Будучи в Польше, я сказала, что у меня такое странное сочетание, на что мне поляки сказали, что «подумаешь, вот у нас Кавалерович (Ежи Кавалерович, известный режиссер), он полуармянин-полуполяк». Вот такая

интересная история, оказалось, что и в кинематографе тоже. Я думала, что я очень уникальная, — не получилось, ничуть не бывало (*усмехается*)! Вот такая история.

После этого мои родители остаются в Советском Союзе, в России. Папа, так как он занимался авиацией, а авиация была очень развита в Румынии... Последний король румынский был авиатором, и даже, когда он отрекся от престола после войны... Он же освобождал от Антонеску, от фашистов Румынию. Король Михай — один из немногих, кто имеет знаменитый орден Победы. Он освободил Румынию от фашистов, потом, будучи умным человеком, отрекся от престола и спокойно уехал в Швейцарию, где очень долгое время, как мне рассказывали, — опять же в Советском Союзе этого знать никто не знал, по-моему, никогда, — был директором (как называется эта должность, не помню) аэропорта швейцарского, или женеvского, или компании большой авиационной швейцарской. Вот что-то такое, это можно узнать. Мне как раз Петя рассказывал, что при этом дочери его — это принцессы, и они должны были выйти замуж только за принцев крови. Масса таких интересных историй, которые в России того времени было непринято рассказывать.

О маме и папе

Мама до этого училась в Сорбонне, у нее было хорошее образование, как я понимаю, и свидетельство об этом образовании. Ее ни больше ни меньше, каким образом непонятно, назначили в министерство просвещения. Было такое министерство, красиво называлось: Министерство просвещения Молдавии. И мне мама как-то [рассказывала]... Это все на нюансах, на каких-то проговорках, на каких-то таких аллюзиях строились все эти рассказы. Мама рассказывала, что это был человек, у которого затылок был стрижен по линейке, подбравался затылок, такая типично русская стрижка, она была тогда у нас модная. Стриженный, как я понимаю сейчас, под бокс, с полосочкой снизу, мысочек этот подбравается. Ходил такой человек в военном мундире, он был министром, который не знал ни одного языка. Мама знала, по-моему, пять или шесть. Она была в отделе иностранных языков, но отчитывалась перед ним, перед министром. И как происходила эта служба, я не знаю.

Знаю, что она пережила в Румынии, то есть в Молдавии, в Бессарабии жуткое землетрясение 39-го года¹, страшное совершенно. В XX веке дважды Румынию и Молдавию накрывало. Один раз в 39-м году, страшнейшее землетрясение, когда половина городов была разрушена. А второе уже было в правление Чаушеску, по-моему, в 70-е годы, тоже было страшнейшее... Я помню, тогда приезжали, помощь оказывали румынам, а в Молдавии стали строить — кстати, благодаря Брежневу, как потом выяснилось, — сейсмостойкие дома. Они со скользящей опалубкой строились, даже высотные. Скользящая опалубка медленно опускается, вначале ставится каркас металлический, а потом опалубкой сверху заливается бетон сверху вниз. Вот эти дома, как ни странно, не складываются, выдерживают до девяти баллов. Что интересно, я помню, как в 73-м — 74-м году это землетрясение здесь почувствовала². Я лежала на тахте, у меня на Гражданке была комната, и я лежала на тахте, рядом стоял журнальный столик, и я почувствовала колебания, увидела, как у меня в стакане вода плещется. А потом мне сказали, что женщины, оказывается, чувствуют землетрясение, колебания, от нуля буквально, от одного балла, а мужчины — от двух, только третий балл они чувствуют. Вот когда идут первые толчки... А я думаю, многие почувствовали, но кто-то не придал этому значения...

¹ Карпатское землетрясение произошло 10 ноября 1940 года.

² Бухарестское, Карпатское или Вранчанское землетрясение произошло 4 марта 1977 года.

Е. О.: Не сопоставил.

В. З.: Но после я просто узнала, может быть, потому что Румыния мне близка, я услышала и вспомнила эти свои ощущения. Мама осталась здесь, папу мы отправили в военно-авиационные части. Опять-таки ничего не знаю, знаю, что в войну он служил в той же эскадрилье или в том же полку, в котором служил Гастелло. Он рассказал об этом подвиге, о том, что случилось. Это от плохой жизни он, не от того, что подвиг этот... Таран, первый таран, известный. То ли ему забыли положить парашют... В общем, что-то там случилось, ему было никак. Он, конечно, понимал, что это конец. И он пошел на этот таран, который зафиксирован как большой подвиг. Говорят, по радио матерился безумно. Безумная, страшная история.

Е. О.: Отец это знал?

В. З.: Отец это знал, рассказывал. Мы не так много с ним общались в жизни. Потом он служил в Горьком, после войны.

Детство в эвакуации

Я родилась в эвакуации в Новосибирске. Папа приезжал откуда-то, он был на Дальнем Востоке в войну. Не знаю всей этой истории, может быть, можно было бы почитать и сопоставить, но на это у меня не хватило времени. Я помню, как на окне висели туши рыб соленых, кеты, для меня казались огромные совершенно. На окне они висели почему-то, балыки висели. Это воспоминание детства.



Вообще, у меня очень много в детстве воспоминаний, как говорила моя мама, прошло через желудок.

Я помню, чего я где ела. Я прежде всего вспоминаю, что я ела там-то, где это тогда было... Там, где я съела то-то, или там, где я ела много мороженого, и мне разрешали, где еще была замечательная газированная вода с настоящим вишневым вареньем, и я вылавливала оттуда вишенки. Вот такое. Я жуткая обжора, по мне видно, так я на всю жизнь осталась. Эпикурейские эти темы меня очень волновали с детства.

В эвакуации умер мой братик, которого я так и не видела, я родилась позже, когда приезжал папа. Как вы понимаете, я не

помню, как он приезжал. Я родилась в 44-м, в августе, значит, наверное, в начале 44-го или в конце 43-го он приезжал к маме. Таким образом появилась я, причем совершенно неожиданно, потому что, как сказала мама, она совсем не хотела детей. Она очень страдала, потеряв ребенка, и посидела за одну ночь. Я ее знала уже совершенно седой. Когда мы гуляли по садику, меня спрашивали: «Как зовут твою бабушку?» Все думали, что это моя бабушка, а не моя мама. Она меня поздно родила, в тридцать лет, но все равно у нее было достаточно молодое лицо и совершенно седые волосы, и не седой я ее не помню. Судя по тому, что сзади подшерсток был темный, я понимаю, что цыганская темная масть присутствовала. Хотя моя тетюшка была совершенно рыжей. Из этого я делаю вывод, что, видимо, дедушка был рыжеволосый. Наверное, так природа разделила их по цветам. Что еще? Да, мы жили в Новосибирске, как я понимаю, с 44-го до 47-го года, три года всего. Хотя воспоминания детства у меня достаточно острые, хоть и связанные с едой, но при этом много я помню. Помню, например, как меня маленькую выставляли в колясочке на мороз на балконе в Новосибирске. Это я еще лежала в колясочке, значит, до года.

Е. О.: Это прогулки были?

В. З.: Это на балкон зимой, дневной сон.

” А над моей головой с балкона свешивался воробей дохлый, за ноги подвешенный. Это меня жутко волновало, и я не могла это рассказать никому. Но меня это мучило, и я не могла уснуть.

Каждый раз мне было страшно поднять глаза вверх и увидеть этого свешенного вниз воробья. Вот такая интересная история. Наверное, какой-то психический сдвиг этот воробей в моем сознании произвел. Но какой — теперь попробуй узнай.

В 47-м году, я очень хорошо помню, как мы ехали в поезде из Новосибирска в Москву. Мы приехали в Москву с мамой, и там я болела в очередной раз. Я болела всегда, болела все время, вечно. Когда чуть попозже меня приводила мама к врачу, и доктор спрашивал: «Скажите, пожалуйста, чем болел ребенок?» — мама говорила: «Знаете, доктор, мне легче перечислить, чем он не болел, этот ребеночек». И я там пила красный стрептоцид. Был белый стрептоцид и красный. Отчего красный, чем он отличается от белого? Явно чем-то отличался. Но пила я красный стрептоцид и запачкала какое-то невероятно ценное одеяло из верблюжьей шерсти родственников своих московских. Что характерно, здесь у меня были достаточно странные родственники с маминой стороны, очень дальние. Каким образом они возникали и находились, я не понимаю до сих пор.

С папиной, с армянской стороны были родственники, которые принимали участие в моей судьбе, даже тогда, когда не было папы. Дальше мы едем в Ереван к моим двоюродным бабушке с дедушкой, это по папиной линии. У папы мама при этом живет в Румынии, у нее там было четыре мужа, очень своеобразная была женщина, красавица, и две сестры, которые оставались в России. Одна из которых вышла замуж за военного, который стал генералом уже после войны. Мой дедушка был генералом железнодорожным. Он ведал котлами всякими, ремонтами паровозов. Тогда они тоже носили военную форму. Прабабушку, которой было девяносто лет, я застала уже не в Ереване, а уже в Киеве. И эту бабушку я уже в Киеве видела у той бабушки. Путешествий много было, уследить очень сложно.

Ссылка родственников в Казахстан

Их, оказывается, из Бессарабии выслали. В 39-м году высылали очень просто: приезжал грузовик, где уже что-то шевелилось под брезентом, заходили в дом два военных с винтовками Мосина, говорили: «Собирайтесь!» Семья вся должна была собраться, и на каждого человека разрешалось взять два килограмма. То ли это была еда, то ли это было пальто, это было лето, то ли еще что-то, — в общем, всего два килограмма на человека, что можно было взять. Загружали в кузов машины, причем не было фургона, а был просто кузов с высокими достаточно спинками, заставляли присесть, закрывали брезентом. Мне рассказывали люди, которые пережили... И эти два охранника сидели по краям у кабины кузова. И если кто-то поднимал голову, то они этой винтовкой били по головам, чтобы не поднимали головы. В этом состоянии везли, потом грузили в вагоны и везли кого куда. Мои родственники и очень многие, кстати сказать, в Аральске жили, на Аральском море в Казахстане, в жутких условиях совершенно. Там резко-континентальный климат, зимой ночью замерзала вода даже в доме, отопления не было ни в каких бараках. Жили просто на поселении. Вот они так приехали: ни топора, ничего.

Во многих случаях просто высаживали в Сибири, просто ради развлечения. Как мне рассказывали, останавливался поезд, открывали ворота, и целый вагон: «Выходите!» Там сколько? Человек сто набивалось, наверное. Сорок восемь можно было, а так человек сто, наверное, набивалось. И вот высаживали людей без ничего. Где-то, черт знает где. Рядом ни жилья, ничего. Тайга. Выживешь — повезло. Не выживешь — не выживешь. Ни топора, ничего, жить как? Звери ходят. В общем, вот такая история.

Арест мамы. Жизнь на Украине

Мои бабушка с прабабушкой там прожили достаточно много времени, и в уже хрущевское время вернулись. Уже к тому времени бабушка с дедушкой переехали из Еревана — по какой причине, не знаю, — в Киев. Дело в том, что в Ереване арестовали мою мать, мне было шесть лет. В 49-м году арестовали маму, я осталась с бабушкой и дедушкой. Потом как-то так случилось, что возникла тетя какая-то двоюродная с маминой стороны, которой мама написала из лагеря, попросила мной заняться, потому что я отказалась ходить в школу. Мне сделали темную в первый же день, избили, и я сказала, что я не пойду. А там нужно было учиться по месту жительства. В общем, пришлось бабушке с дедушкой отдать меня тетке.

Тетка тоже рассказывала массу интересного. Она во Львове доучивалась, это был 49-й год, тогда еще, по-моему, бандеровцы

были. Как ужасно с офицерами русскими и вообще с русскими обращались, как находили кучу трупов с вырезанными звездами в подворотнях, везде. В общем, это была стенка на стенку, это была жестокость на жестокости, и с одной, и с другой стороны, это было что-то страшное. Она там заканчивала институт медицинский, и ее послали на Украину. Она еще должна была досдать что-то в Киеве, мы какое-то время провели в Киеве, то ли год, то лисколько-то.

Е. О.: То есть она забрала.

В. З.: Да, она меня забрала от бабушки с дедушкой и повезла в деревню, «где скучал Онегин». И в этой деревне не скучал Онегин, там и я не скучала, там было достаточно весело и интересно.

Е. О.: Это на Украине, да?

В. З.: На Украине, да. Была очень своеобразная школа. Дело в том, что как-то в моей жизни так случилось, что у меня такая работа, что когда я делаю тот или иной фильм, я как бы проживаю особую жизнь. То войну... Одно то, как сажают в теплушки уходящих на фронт новобранцев, и играет в этот момент «Прощание славянки» на каком-то дальнем, забытом богом полустанке, и как провожают, — ты это переживаешь, у тебя так же мурашки по телу. Ну, не так же страдаешь, но ты переживаешь этот кусок жизни. Или когда для съемки готовишь пайки хлеба, похожие на блокадные, ты в какой-то части живешь этой блокадной жизнью. Не полностью, но где-то внутренне...

Е. О.: Присоединяешься.

В.З.: Присоединяешься волей-неволей. Видите, сколько историй было в моей собственной жизни, в моем детстве.

Деревенская школа

Была какая-то старая крестьянская школа начала XX века, одна большая хата, крытая соломой, с печью русской посередине. И куча лавок, широких деревянных лавок, и столов длинных, на которых обычно скупают, там же и покойника кладут, если там покойник бывает. Вся мебель состояла из нескольких лавок, большого стола длинного, достаточно узкого, и какого-нибудь топчана, который застилался соломой. Даже солома клалась просто так, не тюфяк соломенный, а именно солома клалась. Сверху рядно, а уже на рядне спали. Это, собственно, вся мебель, только было больше лавок и больше столов в этой школе. И за каждым столом сидел свой класс.

Не было такого, что пойдешь в соседний магазин и купишь («зошит» хочется сказать, это украинская школа) тетрадку. «Зошит» по-украински, по-старославянски значит «сшитая». Была одна-единственная учительница на все семь классов. Она шивала из крафта, серой такой бумаги из щепок, белыми нитками толстыми, десятый номер, тетради. Если она не успевала, мы сами шивали. Карандаши, один обычный, а кому свезло — еще химический карандаш, который лижешь, и весь язык в чернилах, руки все в чернилах. По-моему, были еще несколько непроливаек-чернильниц, но, может, это я придумала. Может, этого не было, потому что какие-то киноаллюзии, которые каким-то образом переводились мною в кино, потом это запечатлевалось, и где правда, где был, уже трудно разобраться сейчас в моей памяти. Во всяком случае, такая школа была. И был любимый... Учебников не было! Был единственный «Кобзарь», сборник стихотворений Тараса Григорьевича Шевченко. И вот это: «Як умру, то поховайте / Мене на могилі, / Серед степу широкого, / На Україні милій...» То ли это был диктант, то ли это нужно было выучить со слов, то ли это нужно прочесть, не помню. Помню правописание, мы должны были писать крючочки, была каллиграфия у нас при этом, мы это писали все, но у нас не было линеек, поэтому это была та еще каллиграфия. А вот что касается арифметики, я не помню. Что было с арифметикой, каким образом я чему-то научилась, не знаю. Так я училась два или три класса школы, но я получила табель.

Рассказы мамы о лагере

Потом уже, когда мама вышла, срок четыре года, 49-й... В 53-м — 54-м году, по-моему, она вышла.

Е. О.: То есть ее долго не было?

В. З.: Да, конечно, она была в лагере в Магадане. Очень много интересного рассказывала по этому поводу. Мама была очень юморной человек, и это дало ей возможность выжить в тех условиях... Вы знаете, самое интересное, читаешь воспоминания каких-то придворных, каких-то фрейлин, еще кого-то бывших, которые попадают в условия советских лагерей или поселений, и изумляешься, до какой степени они были терпеливы и выносливы. Они были более выносливы, чем рабочий класс, как ни странно. То ли человеческое достоинство высокое, то ли высокий интеллект, но что-то было такое, что их держало в этом мире, что развлекало. Например, Мещерская, не зря я ее вспомнила, была посудомойкой в лагере, ее устроили посудомойкой, и она была счастлива, ну, счастлива-несчастлива, она сама внутри читала стихи. Она много знала стихов, знала стихи на французском языке, Парни читала. И читала на русском языке. Сколько было [случаев], когда спасали таких людей, которые знали много. Спасали те же зеки, спасали не политические, а каганы эти всякие, воры.

Е. О.: То есть с уважением.

В. З.: Да, с полным уважением. Они говорили: «Ты не работай, ты лучше нам читай». И человек из собственной памяти вынимает целый роман, чуть ли не Золя на память. Тогда же не было столько информации по телевизору, тогда книги, и это оседало внутри, это было частью житейского опыта, все эти романы, это была необходимая часть человеческого душевного опыта. Это было накоплено, и все эти знания можно было променять на более хорошую жизнь и на возможность жить. Это удивительная вещь. Видимо, то же самое и с мамой. Мама рассказывала, что когда там распределяли работу... Она на лесоповале работала, но она не занималась лесоповалом как таковым, а занималась ездой. Спросили, то ли шаг вперед, то ли что-то, кто знает лошадей, кто может... И мама вышла вперед.

Е. О.: Она на лошади?..

В.З.: Она на лошади не только каталась, она запрягать могла и все на свете, видимо. И она вышла, не соврала. Тогда ее отправили к какому-то старому возчику. Она должна была ему помогать, возить, а он то ли при конюшне работал, то ли что-то. И ей главный охранник, или кто-то, кто давал эту работу, говорит: «Ну, ты будь с ним внимательнее, потому что ты можешь чего-то не понять. Он в основном на немецком языке разговаривает». А она думает: «Господи, чтобы я на немецком не поняла». Она знала немецкий. Она пришла к этому дяде и поняла, что действительно ничего не понимает, но это не немецкий язык. Она с трудом начала перебирать все языки, которые она знала (*смеется*). Оказалось, что он разговаривал... То есть для связки слов он употреблял... Она мне, честно говоря, потом уже, когда я стала взрослой... Она запомнила все эти ругательства матерные, виртуозные. Для связки слов одно русское слово из семидесяти слов, представляете. Он разговаривал только на этом языке. Мне сейчас это не воспроизвести, ну и не надо, но это настолько здорово и интересно, вот так суметь. Они друг друга понимали, и он выражал все, что нужно было, много очень рассказывал ей, но именно таким языком. Другому его научить было невозможно. С кем бы он ни общался, он разговаривал только так, «на немецком языке». После войны немецкий — это же бранный язык, да, это же все перетекает.

Развод родителей

Что еще вам рассказать? Да, в это время, когда маму арестовали, папа жил в командировке, папа такой мифический был, героический, который существовал на фотографиях, который меня очень любил по фотографии. Потом он от меня отказывается очень мило и, естественно, требует развод. А тогда пишешь заявление — и сразу развод, моментально.

Е.О.: Это когда мама была?..

В.З.: Когда мама в лагере, естественно. Как только арестовывают маму. Ему это необходимо было, чтобы сохранить свою работу и жизнь. Чтобы не пойти: «Нет, это моя жена». Этого не было, конечно, такого подвига во имя непонятно чего. Он, естественно, от меня отказался. Когда мама забрала меня из этой деревни от тетки и привезла в Киев к дедушке с бабушкой, нужны были какие-то деньги на существование. Еще не было реабилитации, она была свободна от всего опять, и от работы тоже (*усмехается*). Самое интересное, что у нее пропали все документы об образовании. А она уже была кандидат наук, и все это было похерено напрочь. Тогда она подала на алименты, и он сказал, что это не его ребенок. И тогда бабушка с дедушкой, которые его дядя и тетя, написали заявление, что это неправда, показали фотографии его детские, выслали, и мои: одно лицо абсолютно, мы очень похожи с отцом. И ему пришлось... Это я узнала опять же позже.

Е.О.: Тоже берегли, не рассказывали.

В.З.: Естественно. У меня папа погиб на фронте, а потом вдруг папа появляется, непонятно каким образом. Это все очень смешно, и как-то... Я думаю, что у 70% людей все то же самое. Уверена, у русских, советских людей все то же самое. Чуть другая интерпретация, но в общем, как ни странно, одинаково. Одинаково все трагично. Очень интересная история, знаете, когда... Мы же все без роду и племени, мы все не знаем ничего о себе. Ну, «мы все» — из моего детства люди, я имею в виду. И очень мало знающих о своих корнях. Почему сейчас такая жажда узнать побольше.

Е.О.: Во-первых, возможность сейчас появилась, доступны какие-то архивы старые, а раньше, наоборот, скрывали.

В.З.: Все скрывали, да. Был ты или не был, был и не был.

Е.О.: И те же документы о Сорбонне, вполне возможно — было средство спастись, убрать, уничтожить.

В.З.: Нет, их уже во время войны у нее забрали. У нее забрали все документы.

Е.О.: Но некоторые сами уничтожали и родословные свои, и документы.

В.З.: Да, конечно, но это как-то у нее... При этом она работала, понимаете. Она как-то удачно влезла в эту советскую систему, в это министерство. Потом в Новосибирске она кем-то была при заводе «Светлана». Она там была и что-то делала. То есть ее образование ей было необходимо, и оно как-то вело ее по жизни, а с другой, вот такая история...

Е.О.: Вы узнали о своих корнях через своего двоюродного брата.

В.З.: Это все немножко, отрывочно. Он привез несколько фотографий, связанных с его детством, с юностью моих родителей, какой я не знала. Вот какие-то вещи такие, но это такая мелочь.

Е.О.: У вас родители изначально жили в Румынии?

В.З.: Да. Хотя Румыния... Как говорил Гитлер: «Румыны, разве это национальность? Я всю жизнь был уверен, что это профессия» (*усмехается*). Такое отношение к румынам. А папа был из бедных армян. За мамой ухаживало несколько человек, и один из них был мой папа — Женя Зелинский. А ей нужно было ехать в Париж, продолжать обучение после гимназии, а тогда не принято было ездить одной девушке. Нужно было выйти замуж. И она спросила папу: «Я не люблю никого из них, но за кого?» Были трое, они были вхожи в дом, естественно. На что ее папа сказал: «Возьми Женю, он бедный, мы его подкормим» (*смеется*). И вот таким образом у меня образовался папа Женя. Таким образом он сказал, что не имеет ко мне никакого отношения. Такая история. Вот это история моей жизни.

Библиотека киностудии «Ленфильм»

Вы хотели, чтобы я рассказала об Арбениной.

Е.О.: Да, очень хотела.

В.З.: Расскажу про Арбенину. История этой истории начинается для меня на «Ленфильме» в 64-м году, когда я шла за красавцем, удивительным человеком, который привел меня в киностудию «Ленфильм». Это был замечательный художник,

но при этом запомнить его отчество я не смогла до сих пор. В смысле уже забыла. Александр Блэк, был такой замечательный кинохудожник и очень красивый, импозантный человек. Александр Блэк — это берет, это замшевая куртка, которая тогда была в моде (обязательно у киношников должна была быть рыжая замшевая куртка, мягкая, мягчайшая, какая-нибудь английская или индийская; во всяком случае, хорошие выделки). И должен был быть человек, чтобы у него был шарф через плечо и вокруг шеи. Это красиво, это художник.

И была у нас на «Ленфильме» совершенно замечательная библиотека, чудесная библиотека. Я так полагаю, что по рангу коллекции книжной она была в Петербурге на четвертом месте как минимум. После Публички, после БАН³, после Академии художеств это была четвертая.

³ БАН — Библиотека Российской академии наук, расположенная на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

Замечательные совершенно исторические книги, по живописи много, про гравюрам огромное количество. В общем, изумительная. Куча подшивок старых журналов, всего огромное количество. Причем на многих, когда листаешь эти журналы, печать такая: «Проверено», «Проверено», то есть 37-й год — «Проверено», 53-й — «Проверено», еще какой-то — «Проверено». И все эти старинные фолианты, как такие теряющие девственность постепенно, но вот так. Или достаешь какую-то книгу, а там замазаны фиолетовыми чернилами лица, часть лиц. Огромная фотография общая, с замечательной выдержкой на старых этих фотоаппаратах с серебряной пленкой черно-белой. Открываешь, а там половина лиц вымарана или выскоблена бритвой безопасной. Это тоже интересно, это тоже история нашей жизни, история нашей страны.

Оказывается, еще была такая манера: было предписание во все библиотеки (как в других библиотеках поступали с этими книгами, не знаю) такие-то наименования изъять. В некоторых случаях книги где-то прятали, но это было чревато посадкой, во всяком случае, увольнением с работы, если, не дай бог, кто обнаружит.

” А второй способ спасения материалов, которые находились в этих книгах, — это, как ни странно, вандализм: разрезать на мелкие вырезки, на фотографии, спасти частями хотя бы что-то, какие-то статьи.

Этим на «Ленфильме» тоже занимался человек (библиограф), который то ли принадлежал библиотеке...

Были ученые-библиографы у нас, все это было очень серьезно, потому что для каждого кино раньше нужно было собирать материал. Это не то что сейчас: залез в интернет или порылся в собственной библиотеке, или сделали тебе ксероксы, даже из какой-то библиотеки ты можешь купить эти ксероксы почти за бесценок... Раньше ничего этого нельзя было. Можно было, в крайнем случае, что-то переснимать, но в библиотеках и в музеях снимать не давали, даже за плату не давали. В общем, это были большие тернии, через которые нужно было проходить, чтобы получить нужный материал. А материала очень много было нужно набирать, особенно на исторических картинах, на которых мне удалось работать и как декоратору, и потом как постановщику. Ну, минимальное количество фотографий на самой маленькой картинке — это пятьсот-шестьсот штук, но это самая маленькая картина современная. А если это историческая, то это кипа фотографий. У меня в мастерской сейчас папки с этими всеми, разложенные по персоналиям, еще чего-то. Вот всего этого, вырезок, фотографий, чего угодно.

Ольга Гильдебрандт-Арбенина

Вот этим занималась в библиотеке Ольга Николаевна, пожилая интересная дама с короткой стрижкой под горшок, по моде 20-х годов. Высокая явно, но я ее один раз только видела в полный рост, очень интересная. Меня к ней отослали как-то на какой-то картине, буквально через полгода после того, как я пришла на киностудию. И я у нее просто прописалась, и за всем ходила. Эти все вырезки, собственно, сохранялись у нее тоже. Она одна знала порядок этой сохранности, порядок этих папок, и простому человеку из НКВД в кожаном пальто понять, откуда что берется...

Е. О.: Вырезанные?

В. З.: Вырезанные. У нее было написано «Der Bazar», например, был такой немецкий журнал-каталог конца XIX — начала XX века, там всякие вещи, предметы быта, все в каталоге этом, в этом огромном толстом журнале. Почему его нужно было пускать под ножницы, не знаю, видать, он стоял в этих списках запрещенных.

Жила она рядом с длинным коридором, который вел в библиотеку, своеобразная такая длинная лестница и коридор. И рядом маленький пенальчик просто. Вся комната, наверное, полтора или два метра в ширину, еще заставлена стеллажами, поэтому точного размера не понять, она была узкая, и метров шесть-семь в длину. По стенкам стеллажи, полки висели, в общем, все это было заставлено, и был маленький узенький проход, полметра буквально, где стоял столик, преграждающий дорогу, как бы барьер между этой святая святых и входом, буквально через один шаг от двери, далеко не пройти. И дальше скамеечка, квадратная табуретка, еще маленькая скамеечка, и вот эти три скамеечки, как бы мал мала меньше. И на маленькой сидела эта женщина, всегда в синем халате (такие были тогда синие сатиновые халаты, принадлежность канцеляристов), нарукавниках и с длинными ножницами, которые мы сейчас знаем как бумажные, довольно редкие в то время. Вот, и сидела резала, резала. И так у нее, знаете, круглым гребешочком заколоты волосы, чтобы не падали на лоб. И вот так сидела и резала. Массу всяких вырезок она имела. «Ольга Николаевна, Ольга Николаевна!» «Вам надо то-то? Идите к Ольге Николаевне!» — и так большинство... Или: «Спросите у Ольги Николаевны». Эти великие библиографы, недостижимые величины, не утруждали себя ничем. В общем, получить от них какую-то информацию...

Е. О.: Никаких подробностей.



Ольга Николаевна Гильдебрандт на даче в Юкках под Ленинградом. 1970-е гг. Источник: <https://biography.wikireading.ru/250649>

В. З.: Да, трудно. А к ней приходишь и говоришь: «Ольга Николаевна, скажите, я занимаюсь войной 14-го года, мне нужны протезы вот такие-то...» — «Да, это смотрите журнал «914-й год». Так он и называется, номер такой-то, такая-то страница, находится на такой-то полке в библиотеке во втором зале». Предположим, грубо говоря. Все это так и находится. Приходишь и говоришь: «Вот мне нужен журнал 14-го года, такой-то номер»... И он находится именно там. То есть это потрясающе: человек внутренне знал всю библиотеку, понимаете, перед глазами у нее все полки, огромные, шикарное место каталога, который там был, но никто в нем не рылся, и мы в нем не рылись, потому что это было табу. А те, великие, рылись для своих статей, и поэтому ты сидел как полный идиот. «Ой, идите к Ольге Николаевне!» «У меня тут есть», — говорила она и выносила папочки две-три с какими-нибудь вырезочками. Или там вырезка: такой-то год, предположим, протез руки, протез ноги и так далее. И понимаешь, что механика протезного дела была на высоте даже в прошлом и позапрошлом веке, и так далее, все это постигаешь. У нее была куча этих...

Поначалу как-то так общались, приходили туда к ней по вечерам. Если заходишь достаточно поздно, то к концу рабочего дня подходил Блэк, они дружили. Или подходил Суворов. Суворов — это тоже очень известный художник, Николай Александрович Суворов. Тот Александр Николаевич, а это Николай Александрович, обратное, перевертыш⁴. Суворов — это тоже кинохудожник. Он на «Петре I» был художником по костюмам, потом стал художником-постановщиком. Своеобразный очень человек, который обладал скоротечием, читал по диагонали. Он приходил в библиотеку, каждый раз набирал вот такую стопку книг (ну, штук пять-шесть толстых книг, романы, беллетристика), на следующий день приносил и забирал следующую такую же кипу.

⁴ Зелинская путает отчества. Суворова звали Николай Георгиевич, а Блэка — Александр Эдуардович.

Приходили к Ольге Николаевне и с ней беседовали на всякие разные темы. То есть было два кавалера у нее, с которыми просто было, видимо, приятно общаться. Тут не было никаких гендерных отношений, чисто человеческие. Они между собой общались. И всегда вечером, проходя мимо этой комнаты, можно было слышать такой пропитой голос Николая Александровича или Александра Блэка. Вот они чего-то там вели, и Суворов обязательно бил костью по полу и говорил: «Нет, это так, я знаю точно, потому что в такой-то книге тогда-то я прочел это, а у того-то в такой-то книге было понятно, что...» — и так далее. Вот эти два человека приходили по вечерам всегда, это такой уже был клуб по интересам. Когда они расходились, я не знаю, потому что у нас был свой клуб по интересам, мы не следили за стариками особенно, но это было. Потому что там сидеть просто так двум-трем человекам было очень трудно, поэтому дверь была открыта нараспашку, не было ни окна, ничего в этом пенале. Это то ли какой-то проход, то ли еще что это было изначально. Непонятно, для чего нужно было это помещение, однако оно существовало, и там вот сидела Оленька.

Потом через полгода или год нашего знакомства делового Ольга Николаевна вдруг ко мне обращается, а я рассматривала очередные картинки. «А вы как рисуете?» — спрашивает она меня. А так как я закомплексованный человек, рисовала плохо, естественно, и писала тоже, то я нагло и развязно ответила, что легко, умею, и все. Она как бы не заметила моей иронии или почувствовала и как-то пропустила, ей хотелось какого-то доверительного общения со мной, что было приятно на самом деле. Это было неожиданно и очень приятно. И она так же спокойным голосом сказала: «А вот я пишу акварелью. У меня много акварелей, я пишу по памяти. Хотите принесу? У меня дома, я вам принесу». И она принесла мне альбом, где были очаровательные совершенно какие-то пейзажи немецкие, готические замки, озера, какие-то такие сепийные и умбристые пейзажи. Обычный альбом для рисования, старый, с плохой бумагой, не ватман. И были люди какие-то, радостные, веселые, было море с парусом, с треугольными яхточками.



Ольга Николаевна Гильдебрандт. Пейзаж с деревьями. 1950-е – 1960-е гг. Бумага, акварель. Собрание Р. Б. Попова. Источник: <https://biography.wikireading.ru/250649>

Е. О.: Романтические такие.

В. З.: Очень романтические, очень. И все это по памяти, и так красиво, легко и просто. Но это не примитивное искусство при этом. Это не то, которое мы сейчас видим у Войцеховского, замечательные, которые мне тоже очень нравятся. Примитивному искусству никогда не научишься, это рождается изнутри. Это тоже рождалось изнутри, но это были рисунки вот тех самых дамских альбомов, в которых каждый писал или рисовал послание, которое он владелице в данном случае хочет оставить на память от себя. А здесь просто она для себя. Человек вечером приходит, садится просто рисовать этот альбом и рисует.

И так вот я работала на «Ленфильме» с 64-го по 74-й год. Все это время она работала тоже, и была явно пожилым человеком. Однажды я пришла к двери, а дверь закрыта с такой ключевой накладочкой, когда замок пропускается. И впереди шла женщина высокая, очень высокая, на очень стройных ногах, в достаточно коротком, закрывающем полколена халате синем, с белесо-седой прической, копной волос, очень густых, хороших, не мои пух и перья, а такая копна волос с этой гребенкой, совершенно прямая балетная спина человека, который там сидит, все время что-то копается на короточках фактически, на этой табуреточке, скрючившись. Странная такая [женщина] шла впереди, и я осознала, что это Ольга Николаевна. И я к ней подбежала (она шла в библиотеку) и сказала, что «вот можно...». Она сказала, что сейчас ее вызывают, у них совещание, если можно, чуть попозже... Это единственный раз, когда я ее видела в рост, ни разу больше я ее в рост не видела. Такое ощущение, что она там жила, просто выросла в эту свою подсобочку.

Работа на телевидении

В 74-м году волею судеб я перешла на телевидение на какое-то время и вернулась ровно через десять лет на «Ленфильм» в 84-м, у меня такие декады. На самом деле то, что для меня казалось трагическим (я уходила как бы в никуда, а потом на телевидение), оказалось, как ни странно... Господь Бог вынул мою судьбу. Потому что на «Ленфильме» стать художником-постановщиком очень трудно, нужно ждать, когда кто-то умрет, чтобы на это место взяли именно тебя, потому что в основном брали мужчин. И я была слишком хорошим декоратором, помощником, чтобы меня отпускать в свободное плавание. И все это случилось со мной на телевидении. Там я и постановки, и фильмы, и спектакли [делала]. Там был огромный объем работы, который я делала с большим удовольствием и восторгом. Потому что я себя изжила как декоратор, я это понимала, мне было очень тяжело. Хотела сказать что-то, и нет самолюбия большого, еще чего-то. Просто кольчужка маловата, развернуться негде. Вот как-то хотелось, а тут тебя били по башке и говорили: «Делай, что тебе сказано, потому что я твой начальник, я знаю, что вам нужно делать». И все, это нормально, это нормальное явление. Ненормально с точки зрения чей-то частной жизни, но в обычной повседневности это нормально на самом деле, потому что каждый должен знать свое место. И есть люди, которые могут существовать в декораторах всю жизнь, и должны существовать, и это очень хорошо. Уровень компетентности и некомпетентности должен каким-то образом осуществляться в жизни, и если идет нормальная оплата, нормальное к тебе отношение, уважительное, то каждая профессия прекрасна. В зависимости от твоих способностей.

Конечно, на телевидении была совершенно другая история. У меня трудовая книжка, где есть отдел благодарностей. Вот за десять лет на «Ленфильме» мне была единственная благодарность, хотя я работала на труднейших картинах, где нужен был декоратор: «Зачем вам нужен декоратор? Вам Зелинской вполне хватит». Такая лошадь, которая везла на себе огромное количество всего, правда.

Е. О.: Харизматичная лошадь.

В. З.: Хотя это замечательно. Я сейчас понимаю, что это меня спасло, спасает до сих пор и очень много принесло мне в мою копилку собственную. И была одна благодарность: я по комсомольской линии начинала делать музей «Ленфильма» под руководством Иванеева Дмитрия, историка «Ленфильма» известного очень, вообще очень интересного человека. Под его эгидой я делала этот музей и за это получила благодарность. Это даже не по моей работе, да.

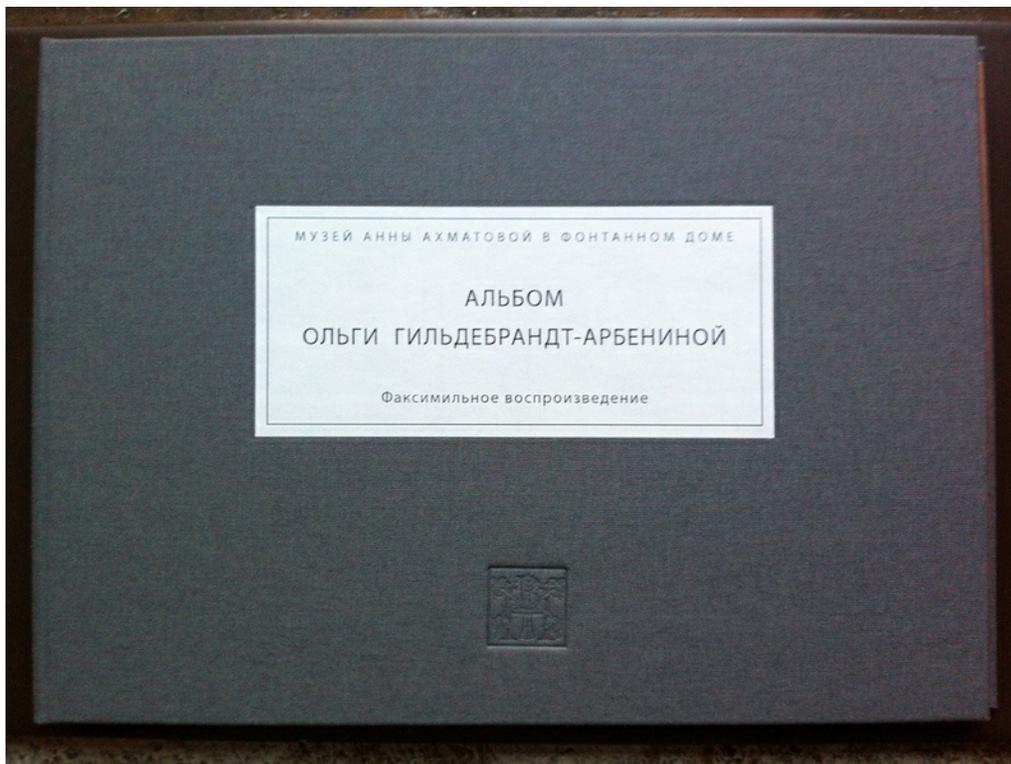
Е. О.: То есть за музей?

В. З.: За музей. А потом на телевидении, где я проработала около шести лет, у меня просто раздулось это, мне вкладывали туда. Каждый спектакль — благодарность, каждый фильм — благодарность, кроме всего прочего. Просто у них такая тенденция — хвалить человека. И этот человек может после этого перевернуть горы, сделать все на свете. Это так важно на самом деле! Просто один умелый кадровик, другой неумелый, вот и все, разница только в этом, в подходе к собственной работе нормального чиновника.

О прошлом Гильдебрандт-Арбениной и о музах Серебряного века

Так вот, я ушла со студии и вернулась в 84-м году: эта дверь закрыта, и никого нет... А она мне еще очень часто приносила всякие вырезки с гравюрами старыми и говорила: «Возьмите себе, вам пригодится, можете не возвращать». Я должна была возвращать, но какое-то количество она мне дарила. Если мне что-то нравилось, я говорила: «Ой, как замечательно!» Она говорила: «Возьмите, пожалуйста, себе, вам пригодится». Потому что найти это было невозможно, а накупить и денег не было. Ну вот, и тогда я изумилась, что нет Ольги Николаевны. Говорю: «Где она?» — «Да она уже умерла», — сказали мне в библиотеке. И как-то так, ну был человек, не было человека, все, никаких... Да и я особо не горевала, умерла и умерла, жалко.

Прошло очень много времени, и совсем недавно, года два-три назад, наверное... В моем возрасте годы кажутся такими маленькими расстояниями между двумя датами, год — это просто мелочь. Поэтому я говорю: три-четыре, а, может быть, пять [лет назад]. Я пришла к своей подруге, директору музея-квартиры Ахматовой Нине Ивановне Поповой. Она мне всегда какие-нибудь интересные дарит журнальчики, издающиеся в этом музее или с помощью этого музея. И она мне дарит альбомчик рисунков Арбениной. Как ее вторая фамилия, забыла.



Е. О.: Вот я тоже все время, у нее такая фамилия на немецкий лад...

В. З.: И там молодая женщина, и я вдруг понимаю, что что-то знакомое. А она мне рассказывает: «Ой, это очень интересная женщина, художница, она была любимой женщиной Юркуна, а Юркун был любимым мужчиной Кузмина». И я говорю: «А как это?» — «Ну вот так, они жили втроем. Она была музой, тогда же были музы, вспомни Ольгу Глебову-Судейкину, ее отношения с Ахматовой и так далее, это такая же». И ты понимаешь, что Ахматова, Глебова-Судейкина, Ольга Арбенина, они чем-то даже похожи. Они такие же статные, такие же ладные, такие же высокие и стройные. Я спрашиваю: «А где она потом, какая ее судьба?» — «Она работала какое-то время на „Ленфильме“», — говорит мне Нина.



И вдруг я начинаю понимать, что это та самая Ольга Николаевна, которую я прекрасно знала.



Ольга Николаевна Гильдебрандт. Начало 1920-х гг. Фото М. Нанпельбаума. Источник: <https://biography.wikireading.ru/250649>

Я говорю: «Ты знаешь, у меня есть вырезки, я даже принесу тебе». Она мне сказала, что будет выставка каких-то работ ее. И рассказала ей всю эту историю, и рассказала о том, чем она занималась. Я думаю, что после этого она подумала, что Блэк и Суворов — это были люди, которые знали ее ту, знали так же, как знали Кузмина, как Юркуна знали.

Что было потрясающе, и в этих книжечках есть... Я потом найду и дам вам обязательно это переснять, или мы в Музей Ахматовой зайдём. Дело в том, что она все время ждала Юркуна, когда его арестовали. Арестовали его в 38-м году после смерти Кузмина. Кузмин умер в 36-м, если не ошибаюсь. А Юркуна забрали в 38-м, десять лет без права переписки. Мы сейчас понимаем, что это такое. Наверное, она понимала, наверное, ей говорили. Наверное, не в этом году, на следующий год. В течение всех остальных лет она знала, что это такое, но она писала: «Дорогой Юрочка...» Она писала ему письма каждый день, как в дневник, рассказывая о том, что с ней происходит каждый день. Частично эти письма есть в Ахматовском музее. Она ждала его прихода, готовилась к его приходу. И Блэк, и Суворов — это был тот кусок ее жизни...

Е. О.: Оттуда.

В. З.: Да. В котором она существовала, собственно. И этот пенал с книгами, вырезками, с людьми из этих вырезок, с этими стихами, — там же не только картинки, — со статьями, которые она читала.

Е. О.: То есть символических много совпадений.

В. З.: Да. Потрясающая история, как круг замыкается, удивительная совершенно. Вот такая история.



Юрий Иванович Юркун и Михаил Алексеевич Кузмин. Ленинград, ул. Рылеева, середина 1930-х гг.

Е. О.: И есть репринтное издание...

В. З.: Да, есть издание в Ахматовском музее.

Е. О.: И там есть и записи, и рисунки, и пожелания.

В. З.: Да-да-да. И письмо к Юрочке, и еще... У меня есть изданный тут же репринт. Я найду потом, покажу. А Юрочка, который при этом любовник Кузмина... Почему-то мы о нем знаем, а о ней... То ли из-за того, что странный триумvirат, то ли из-за того, что ее жалели, и она осталась, а их нет. Непонятно, из-за чего это произошло, но как-то она вымаралась из истории. А была такая же муза, понимаете? И самое интересное, что я с этой музой общалась. Это такая непрерывная нитка, которая вдруг порвалась между тем временем и мной, и оказывается, если сейчас посчитать, мне шестьдесят девять лет будет скоро, через несколько дней буквально... И если посчитать — тогда, в 64-м году, через двадцать лет после моего рождения (я родилась в 44-м), в 36-м умирает Кузмин, в 38-м, за шесть лет до моего рождения, забирают Юркуна. Все это рядом. Сейчас в моем ощущении времени, которое на удивление как шагреновая кожа сжимается... Бальзак это сделал не зря, вот это понятие «шагреновая кожа», да, жизнь как нечто. И вдруг такая история, удивительно.

Е. О.: Причем оно догнало уже теперь.

В. З.: Да-да. Сопричастность.

Е. О.: Тоже причина для раздумий, что есть жизнь, как она поворачивается своими гранями.

В. З.: А такая была красавица, везде на этих картинках такая длинноногая, такая скачущая лошадка, гарцующая.



Юрий Иванович Юркун. Ольга Гильдебрандт. 4 октября 1935 г. Бумага, акварель, карандаш, тушь. Собрание А. В. Петрова. Источник: <https://biography.wikireading.ru/250649>



Юрий Иванович Юркун. Ольга Гильдебрандт на прогулке с собакой Файкой. Бумага, акварель, тушь. 1930-е гг. Собрание Р. Б. Попова. Источник: <https://biography.wikireading.ru/250649>

Е. О.: Но она в этом архиве так и осталась в своем прошлом, не ушла. Вот верность.

В. З.: Да-да. И помогли ей, такое место нашли ей, укрыть этого человека от всего этого. Жила, наверное, в маленькой комнатухе в какой-нибудь коммунальной квартире. Может быть, какая-нибудь бабка с ней ругалась на кухне, что она не так

поставила кастрюлю, не на ту керосинку, и так далее, и тому подобное. Ужасно, если так подумать.

Е. О.: Надо сделать фотографии этого альбома. Причем эти дамские альбомы — это явление было распространенное, даже были какие-то образцы, они переходили из альбома в альбом. Но этот альбом... Она крутилась в таком кругу художественном, что уровень другой, я так понимаю.

В. З.: И уровень сознания другой, и уровень таланта, да. Просто я вдруг тогда поняла: мы ведь об этих женщинах очень мало знаем. Вот были куртизанки XVIII века знаменитые, которые привели того же Наполеона к власти, и вот эти женщины начала XX века, удивительные женщины, действительно, музы.



Они имели особый талант любить, особый талант дарить себя людям, дарить свою красоту, дарить свое добро, дарить свои улыбки, дарить просто удовольствие от сосуществования рядом.

Тот же старый пропитой Суворов мог прийти, поцеловать ей руку и сразу почувствовать что-то старое. От нее не пахло духами никакими, были чистые руки белые, она белая была, белокожая такая, в обычном синем халате из советской шарашки. Удивительно совершенно. Удивительная женщина. Та же Брик... Одни думают, что она плохая, другие думают, что она с чекистами заодно, третьи там, что она пришла к Сталину и сказала после смерти [Маяковского] (ну это наверное, в это я верю), что «это наше все, давайте сделаем, чтобы он был вовеки», и увековечивала память о нем всю свою жизнь. Это были особые женщины. Это талант быть женщиной, и не в низко-грязно-сексуально-похотливом, а вот в...

Е. О.: В каком-то творческом ключе.

В. З.: В каком-то творческом ключе. Женщина как некий букет, удивительный сосуд для счастья, да. Любить который, прикасаться к которому...

Е. О.: И из какого-то мифа оно соприкасается с реальностью.

В. З.: Да.

Е. О.: То есть для вас это тоже очень находка такая...

В. З.: Конечно, потому что я помню, когда мне Микаэлян Сергей Герасимович, режиссер, говорил, что он воспитывался, когда родители у него умерли, в семье Брика. И Лилю Брик он знал прекрасно. И я понимала, разговаривая с Сергеем Герасимовичем Микаэляном, что это тоже где-то близко. Человек с тобой сидит, а оказывается, это не миф, это не просто из книжки, это живое.

Е. О.: То есть я сейчас с вами сижу — и я тоже прикоснулась, получается.

О современном кинематографе

В. З.: Да, удивительно. Кстати, Сергей Герасимович — удивительный человек, можно сказать, легенда. Удивительный режиссер. Ну, режиссер того времени... Теперешние режиссеры последнего двадцатилетия, само кино ушли совершенно в другое. Об этом мы можем поговорить в следующий раз. Семимильными шагами, вместе с техникой, все это улетело, и улетело это трогательное кинобратство, которое было раньше. Было раньше кинобратство. Знаете, я работала с Юрием Маминым на «Окне в Париж». Хороший режиссер со своей не очень ладной судьбой. Но меня поразило, и это был мой приход в новую формацию кино, когда я... Как бы мы не пошли в кино смотреть какое-то чужое кино... Раньше, когда мы шли смотреть хорошее кино, это был праздник. Это событие, это ты вбираешь в себя (если это импортное хорошее кино), если ты Феллини посмотрел, если ты Вайду посмотрел, это же восторг, это счастье такое, что у тебя сердце готово разорваться, и как в него вместить — непонятно. И сколько туда можно вместить подобного. Работать на любом фильме (фильмы, конечно, заказные, советские, плохие) было счастьем, потому что ты, во-первых, много узнавал. Во-вторых, ты общался с хорошими людьми. И хотя среди людей этих были и доносчики, и подлецы, и лентяи, но при этом было ощущение братства, было ощущение совершенно другой жизни, в которую ты входил, и выходить из нее не хотелось совершенно. И не хотелось этой повседневности домашней, совершенно не хотелось, потому что в этой жизни, в этом мифе ты существовал полнокровно, крепко стоял там, понимаете. Это была твоя жизнь. И это всегда было позитивно. Негатив был тогда, когда ты не успевал что-то, что-то плохо сделал, — все, связанное с твоей профессией, но зависящее от тебя или от каких-то неприятностей вокруг.

Все это было счастье. И вот 91-й — 92-й год, когда я начинаю работать на «Окне в Париж», и такая вдруг грань перехода в другой кинематограф. Я работаю с Юрой, мы ходим в кино в «Дом кино» или куда-то, смотрим фильмы наших коллег или коллег заграничных. Я ни разу от этого человека... Не только от Юры, от Тигая, его сценариста, прекрасного человека, я никогда не услышала доброго слова о том, что мы смотрим, — все всегда было плохо.

Начался вот этот теперешний кинематограф, хотя очень много хорошего в этом кинематографе. Современный кинематограф замечательный, но он совершенно другой. Внутри появилось очень много зависти, очень много негатива, очень много денег. В смысле желания денег, и очень много при этом голодных смертей и разрушенных судеб, очень много. Очень мало дружбы вокруг. Это вдруг разрушилось. Вдруг ты понимаешь, что никто не придет к тебе в старости и не подаст руки, в основном я имею в виду коллег, потому что ты потенциально можешь занимать чье-то место, да. И потому что кто-то из твоих друзей и коллег более молодых может потенциально вытеснить тебя, да. Появляется то, чего раньше не было. Я не знаю... Потому что другие деньги, другая жизнь, другие взаимоотношения? Почему появились вот эти взаимоотношения, какие-то ужасно тривиальные и ужасно неправильные в искусстве?

Е. О.: Но, может быть, у молодежи есть свои такие...

В. З.: Нет. Молодежь сейчас лезет в интернет. Молодежь привыкла как-то по-другому работать. Во-первых, легче гораздо взять из интернета, например.

Е. О.: Залезть в компьютер...

В. З.: Залезть в компьютер и набрать, вместо того чтобы... Раньше месяцами добывали, находили, радовались, были счастливы. Все было из классических трудов.

Е. О.: Человеческий фактор имел значение.

В. З.: Да, взаимоотношения: «А этот знает...»

Е. О.: Все стараются. А сейчас вот интернет, он как бы без пола, без возраста.

В. З.: Да, абсолютно обезличен. И отношения, и взаимоотношения. Ведь люди женятся сейчас через интернет, находят друг друга через интернет.

Е. О.: Просто там живут.

В. З.: Живут ведь. И это на удивление просто. Совершенно другое время. Я безумно счастлива, с другой стороны, что мне Господь даровал возможность более длинной жизни, увидеть и то, и другое, и возможность сравнить. И это дорогого стоит. Правда задумываешься, кому это надо, но дорогого стоит это сравнение. И не понимаешь уже сейчас, вот лучше было умереть в то время, что, может быть, вот такое...

Е. О.: Нет, ведь и интересно.

В. З.: Интересно безумно. Все интересно: ты приходишь в магазины сейчас абсолютно так же, как ты прибегал когда-то за границей и накопил какие-то дешевенькие сувениры, потому что тебе нужно ста пятидесяти человекам обязательно привезти. И ты вез, и каждый раз, когда ты ехал, ты записывал, кому тебе надо привезти, и жутко боялся: вот это еще нужно понабрать, мало ли я кого-то забыла. И почти все так делали, это было нормально. Сейчас, во-первых, делают единицы, потому что значительно лучше потратить на себя и свой отдых, или для своей семьи. Это тоже нормально, потому что нужно жить-то своей семьей. Наверное, нормально жить для своей семьи. Мужчине раньше говорили: нужно посадить дерево, родить сына, построить дом. А что женщине делать? Что Господь Бог, какой удел даровал женщине? Вот если подумать. Строить дом?

Е. О.: Вдохновлять мужчину на то, чтобы строить дом.

В. З.: И заниматься семьей, и больше ничего. И это тотализм...

Е. О.: Уют, дом, очаг...

В. З.: И работа непонятно где, потому что ты уже не понимаешь, какого ты пола. Странная вещь, но мы в это сейчас входим. Я сейчас работала с девочкой оператором, снимали диплом, я вела ее диплом. Операторский факультет — две трети девочек. А раньше, когда я пришла в кино, мне говорили... А были «Долли»⁵, помните, большие такие катались тележки, с такой штукой с носом, туда ставилась огромная камера «Родина», которая трещала, ее накрывали, запеленывали, как ребенка...

⁵ Название «Долли», как и производное от него слово «дольщик», обозначающее профессию, происходит от голливудского названия операторской тележки Dolly.

Е. О.: Это была мужская работа, тяжелая.

В. З.: Мужская. Но не дай бог подойти. И когда я подходила, а художнику надо посмотреть в глазок... Не дай бог, ты присела на камеру, это все... Просто кино уже можно не снимать дальше, это к несчастью. Поэтому тебя оберегали, оберегали камеру. Вот тыходишь к камере, смотришь в эту дырочку, а вот так стоит, притулившись к этой «Долли», ассистент, чтобы ты, не дай бог, не дотронулась. Ни до этого очка, ни до этой «Долли». Это реально было, и со мной было, хотя у меня были друзья, и очень близкие и нежные отношения с операторами при этом...

Е. О.: Это что, суеверное какое-то чувство, как женщина на корабле?

В. З.: Да, так все киношники.

Е. О.: Закрытое такое?..

В. З.: Да, пространство, в которое женщина не могла. Мы знаем Пилихину и еще одну татарочку или казашку, жену оператора, которая была сооператором, мы знали только двух... Но это было ново.

Е. О.: Это исключение.

В. З.: Это было исключение из правил. А сейчас идут к Учителю, приезжают дети из Москвы, его ученики во ВГИКе, привозит с собой девочек-операторов, девочки-режиссеры.

Е. О.: Но и техника другая.

В. З.: И техника другая, но и в голове другая техника. И вот эта потребность...

О новых временах и месте женщины

Сейчас почему женщины? Потому что инфантильность мужчин теперешняя несомненна. Им нет дела до вещного мира,

а женщине есть, наконец-то ее допустили. И ей хочется не только сидеть у ноутбука, как ни странно, ей хочется ходить, смотреть, делать руками. Ей хочется создавать, потому что женщина изначально создатель. И вот она создает. Сейчас помчались в кино и помчались в театры. Огромное количество — в режиссуру, где раньше мужчина должен был что-то сказать, а женщине сказать-то было нечего. Вот какая интересная...

Е. О.: То есть мы дожили до века женщин?

В. З.: Да, феминизация, я думаю, совершенно откровенная.

Е. О.: Тут даже можно... Вот были женщины-вдохновительницы, да, музы...

В. З.: Уже промчалось все, да. Скоро будут мужчины музами (*смеется*).

Е. О.: Уже есть мужчины-музы.

В. З.: Да, красавцы, холеные, лощенные, рядом с которыми думаешь, что ты мужчина.

Е. О.: Они еще женской профессии: составляют букеты, стригут, такие гламурные.

В. З.: Да. Ведь изначально у женщин это тоже было отнюдь не так. Самые лучшие повара были мужчины, самые лучшие портные были мужчины. Самые лучшие парикмахеры — мужчины. Потом вдруг женщины захватили это, потому что мужчин было мало, мужчинам воевать надо было, они на одну войну, на другую. Они делом другим занимались, более страшным, тогда это досталось женщинам, не от хорошей жизни. И все равно, я помню, когда надо было пошить брюки особые (тогда же индивидуальный пошив был в 60-е еще, 50-е), шли к старому еврей, Натану, который умел шить такие брюки. Ты потрясешься, когда человек надевает фракные брюки, садится, встает, — и ни одной складочки нигде, ни одной! При этом брюки шили из натурального кастора — натуральный материал, из которого шились фраки и фракные брюки. И как, как это? Почему у нас сейчас складка на складке? А тогда одевался и был, как скульптура, красивый. Но это могли делать только мужчины.

Е. О.: Это и называлось «построить костюм».

В. З.: Построить, да, он строился. Сколько было всяких... Бог ты мой, как шили женщинам, как царицам! Их же никто обмерять не мог, один палец обмерялся, вот большой палец. Или какой-то размер давали от локтя до нижнего сустава, до косточки. По этому выстраивался костюм. Никто не мог прикоснуться совершенно. К мужчинам можно, к женщинам нельзя.

Я еще застала, меня знакомил Игорь Николаевич Вускович, главный художник «Ленфильма»... Он такой старый человек, ему было семьдесят пять лет, для меня это был глубокий старик, и очень красивый, горбоносый, с прической, высокий. У меня даже где-то есть его портреты. Все девчонки были в него влюблены, а он нас всех захвалил и говорил: «Зелинская, ты почему сегодня без шпилек? Завтра на каблуках, пожалуйста». И ты знала, что обязательно нужно на каблуках. И научил ходить на каблуках, и заставлял ходить на каблуках. Подумаешь, ассистент какой-то другой картины, но ему до всего было дело. Он очень следил и как-то мне сказал: «Верка (вечером я шла поздно одна), хочешь я тебе покажу одного китайского портного, мне тут надо кое-что ему заказать?» И мы пошли, на Казанской теперешней улице, зашли там в ворота, — действительно, он вокруг пальца обмерял ниточкой, и все. Он говорит: «Ради интереса он это может сделать, не обмеряя меня. Я могу обмеряться, потому что я не женщина, женщин нельзя обмерять». А какие раньше были сложные крои, сложнейшие, и те же корсеты, они же тоже шили, нужно было уметь шить. И какие выкройки, с китовыми усами, со всем, запрятать, чтобы тебя не кололо со всех сторон... Никто не ходил без корсетов. Верхом на лошади он сидит в корсете и держит спину, дыхание. Актрисы могли говорить, петь, имея корсеты на себе, да. И как это было сшито, а их никто не обмерял... Подвенечное платье, не подвенечное, венчание на царство было у Александры Федоровны, ее платье шилось целый год.

Е. О.: Расшивалось, наверное.

В. З.: Вручную, конечно. Уже Зингер появился, уже машины появились. Тогда поповские машинки распространялись повсюду в конце XIX — начале XX века, потому что Зингер заполнил все, выпуск был огромный специально, обогатился немисливо, как Крѣз. Но эти все равно шили руками, потому что считалось, что жесткий шов...

Е. О.: Эластичный ручной шов.

В. З.: Да, ручной шов эластичный. Эти беловшечки, которые сидят...

Е. О.: Ну, и потом он по форме.

В. З.: Его можно было выложить как угодно.

Е. О.: Сейчас еще и ткани такие, которые растягиваются, и технологии. За счет этого меняется крой, и он уже универсальный. Вообще, это понятие универсальности вошло...

В. З.: Да, все универсально. И все неценно поэтому.

Е. О.: Поэтому в следующий раз мы поговорим об индивидуальном: о ваших творческих работах.